Н. А. Терещенко, Т. М. Шатунова
Казанский (Приволжский) федеральный университет

«ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» КАК ФИЛОСОФСКИЙ МОТИВ ТВОРЧЕСТВА Л. Н. ТОЛСТОГО

В статье рассматривается «живая жизнь» как феномен и понятие философии жизни. Анализ проводится на материале творчества и отчасти биографии Л. Н. Толстого. Исследование воспроизводит продуктивность применения к данному материалу принципа «энергии заблуждения» В. Б. Шкловского. Авторы приходят к выводу, что живая жизнь в толстовской версии предполагает слияние и размыкание двух жизненных потоков: жизни, в которой человек действует, как будто он бессмертен, и жизни, которая сама подхватывает и увлекает за собой такого отчаянно любящего ее человека. Мотив живой жизни как важнейшая компонента его мировоззрения позволяет Толстому-художнику говорить от имени всеобщего, создавать искусство, которое манит к продолжению жизни и в которое полагает себя истина бытия.

Ключевые слова: философия жизни, жизнь, смерть, живая жизнь, энергия заблуждения, радость бытия.

Tereshchenko N. A., Shatunova T. M.
Kazan (Volga Region) Federal University
(Kazan, Russia)

"LIVING LIFE" AS A PHILOSOPHICAL MOTIVE FOR LEV TOLSTOY' CREATIVITY

The article considers "living life" as a phenomenon and concept of the philosophy of life. The analysis is based on the material of L. N. Tolstoy's creative work and partly on his biography. The research reproduces the productivity of applying the principle of "energy of delusion" by V. B. Shklovsky to this material. The authors come to the conclusion that the living life in Tolstoy's version involves the merging and splitting of two life streams: a life in which a person acts as if he is immortal, and a life that itself catches and drags a person loving her so desperately. The motif of living life as an essential component of his worldview allows Tolstoy-the artist to speak on behalf of the universal, to create art that beckons to the continuation of life and in which the truth of being says itself.

Key words: philosophy of life, life, death, living life, energy of delusion, joy of being.

А кто сегодня действительно жив?
Апостол Павел

Концепт «живая жизнь» нередко встречается в традициях немецкой и русской философии, философской поэзии и прозы, в русской литературе в целом и в литературной критике. В России его использовали К. С. Аксаков, Н. Языков, В. Ф. Одоевский, Ап. Григорьев, а впоследствии – Ф. М. Достоевский [см. об этом подробнее: 1]. Присутствует этот смыслообраз и – что важнее – тема и проблема живой жизни и в творчестве Л. Н. Толстого. Сквозь литературно-образную ткань этой метафоры проступают философские

смыслы, оказавшиеся принципиально различными, даже прямо противоположными для двух гениев русской литературы – Достоевского и Толстого. Мы не сможем воспроизвести здесь все перипетии этого заочного мировоззренческого спора двух великих писателей, тем более, что эта работа блестяще выполнена В. В. Вересаевым в книге «Живая жизнь» [2]. Постараемся просто засвидетельствовать его некоторый метафизический исход, остаток, максимально значимый, как нам кажется, для современного человека.

Ф. М. Достоевский глубоко чувствует трагизм жизни, раскрывает и усиливает в своем творчестве мрачные и темные стороны изломанной человеческой души. Герой «Записок из подполья» говорит: «Мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей „живой жизни“ какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую „живую жизнь“ чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше» [3, с. 178]. Для героев Достоевского «живая жизнь» – нечто странное, ненормальное, едва ли вообще возможное. Как может быть иначе, если человек для него вечный страдалец и мученик, если для него нет на земле никакого счастья и радости ни с Богом, ни без Бога. Да и какой Бог ему поможет, если в глубине любой человеческой души живет мрачный и страшный паук, который в конце концов должен вырваться на волю и самого этого человека уничтожить. Нет в жизни у человека ничего впереди, кроме страдания и смерти [см.: 2, с. 47-50]. Причем это не страдание, о котором пишет, например, А. Мацейна и которое является метафизической основой философствования (можно предположить, что и литературы). Это страдание, которое душит неспособностью действия при осознании его необходимости.

Л. Н. Толстой, конечно же, олицетворяет совершенно иной настрой, полностью соответствующий имени живой жизни. Не будет открытием, если мы вспомним о живой-живой Наташе Ростовой, её отце, даже о князе Андрее, увидевшем старый дуб, который неожиданно для героя зазеленел поздней весной. Но дело не только в том, что любимые герои Толстого чувствуют цену жизни, любят жизнь и знают жажду жизни. В. Б. Шкловский обратил внимание на то, что по законам живой жизни живет и – главное – *пишет* сам писатель. Этот феномен назван В. Б. Шкловским энергией заблуждения. Он определяет её как страсть писателя найти верный путь героя, верную сюжетную линию, верный исход. Энергия заблуждения, пишет Шкловский, это вовсе не путь в никуда, не зряшная растрата творческих сил. Это «поиск истины в романе» [4]. И в жизни тоже. Но этот поиск практически никогда не дает Толстому гарантированных решений. Совершаются ошибки в жизни. Приходится начинать все сначала. Совершаются ложные ходы в литературном творчестве. Толстой сам чувствует свое заблуждение, сам себе не верит, осознание заблуждения толкает его пересоздавать уже созданное снова и снова . Это вечный поиск того деяния (в жизни и в литературе), которое одно только дает возможность попасть, впасть, влиться в полный поток жизни, соответствовать его ходу и, может быть, только чуть усиливать этот ход и тогда, может быть, превосходить себя прежнего. Однажды Ницше написал об этом: «Искать – всегда немудрено, найти –

куда труднее. По ветру плыть не суждено – плыви еще быстрее» [5, с. 258]. Для Толстого энергия заблуждения – а нам представляется, что точнее назвать ее можно было бы энергией поиска истины – источник нераздельности жизни и творчества. И точно так же, как его герои бесстрашно бросаются в бой, Лев Николаевич Толстой снова и снова бросается в свое писательство, ищет и ищет верное слово, сюжетный ход, характер, исход романа. Хорошо известно, как он переписывал по сотням раз некоторые страницы из «Войны и мира», сколько раз переписал весь роман. Такая же энергия заблуждения не в меньшей степени действует при работе Л. Н. Толстого над повестью «Казаки».

В. Б. Шкловский пишет о том, как раз за разом Толстой отвергал и откладывал окончание повести. Эта отложенность, отсроченность чувствуется и в дыхании текста: автор сам, как и его будущие читатели, долго не знает, чем дело кончится. Наверное, за него решает сама жизнь: Лукашка тяжело ранен, Марьяна разговаривает с дядей Ерошкой, а главный герой Оленин – уезжает. Его молча и сдержанно провожают. Даже не выпроваживают. Но и не удерживают. Всё идет как бы само собой.

Отметим, что чувство жизни, острое ощущение ее безграничной ценности и одновременной хрупкости, ощущение счастья быть живым – мотивы, которые в философии дали начало известному направлению «философии жизни», основателем которого по праву считается Ф. Ницше. Чувство живой жизни предполагает множество проявлений. По Ницше самое главное из них – жизнь как борьба, как преодоление, прежде всего, самого себя. Горение Гераклитовым огнем. Жизнь как чрезмерность, жизнь, которая больше, чем просто жизнь – это мотивы философии жизни, увиденные Гёльдерлином. Пере-жизнь, too-muchness – так определяет ее Деррида. Последний, кстати, вслед за Честертоном, вырабатывает даже формулу жизни, в соответствии с которой жизнь всегда есть пере-жизнь, чрезмерность, она всегда больше самой себя [6, 133-135].

Феномен живой жизни тревожит и занимает умы не только философов. По большому счету, всем хочется не просто жить, но и быть живыми. Это выражается и на уровне повседневности. Есть чисто обывательские версии этого ощущения: жить хорошо, а хорошо жить еще лучше; или в выражении, оставшемся, скорее всего, где-то в лексиконе XIX века, когда о человеке, преимущественно богатом, говорили: любит пожить. Жажда жизни тогда превращается в жадность к жизни, а она, как показывает Толстой, имеет и свою оборотную, теневую и достаточно тяжелую сторону: это факт «цепляния» за жизнь, что хорошо понимает, но не приемлет Толстой.

Как найти эту грань? Где жизнь действительно живая, а где начинается ее, жизни, смерть, застой, унылое существование, где, наоборот, бездумное бодрячество, наигранная веселость? Эти вопросы заставляют думать, что живая жизнь – тонкая грань, хинаяна, а не махаяна. Это путь не для всех.

Обратимся к известному рассказу Джека Лондона «Любовь к жизни». Кстати, в английском оригинале «Love of Life» – не «любовь к жизни», а «любовь Жизни», что, как увидим, гораздо верней и важней. Герой рассказа, золотодобытчик, раненый, оставшийся без еды и воды, упорно продолжает свой путь к реке, где его могут заметить люди. Сознательно перекомпонуем не-

сколько цитат из рассказа: «…Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть. … Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепенели, в мозгу теснились странные видения, радужные сны. … До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно... Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком много. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней» [7, с. 207, 210-211].

Герой рассказа – герой в полном смысле слова. Да, человек всегда проигрывает битву со смертью, но небезразлично, с каким счетом. Лондоновский персонаж встречается с невероятно тяжелой ситуацией, но выдерживает испытание потому, что в высшей степени достоин жизни, и происходит невероятное: жизнь сама подхватывает его. Он вдруг попадает в полный жизненный поток, который несет его дальше уже без его участия. Сама Жизнь взяла на себя роль субъекта действия. Конечно, всегда можно сказать, что герою просто повезло: он дополз до берега, обозримого со шхуны, и на шхуне его заметили. Могли бы не заметить: жизнь не обязана быть справедливой и воздавать каждому по его заслугам перед ней. Могло и не повезти. И всё же повезло. Про него можно сказать словами известной советской песни: я люблю тебя, Жизнь, и надеюсь, что это взаимно. На такую взаимность никак не может рассчитывать тот, кто не умеет любить эту ницшевскую рыжеволосую шалунью, дикую, милую, неблагодарную, с темными, как ночь, глазами, в которых блистает золото [8, с. 197]. А тот, кто любит, – ни на что не рассчитывает.

Как не похож на лондоновского персонажа толстовский герой Оленин! Он тоже окунается в поток станичной жизни: учится охотиться, слушает рассказы дяди Ерошки…

Описание этого жизненного потока в повести Толстого не случайно дается дважды. Первый раз – нет еще никаких участников событий, есть только сам этот жизненный ход: «Из садов спешат с веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности; но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах, с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки и слышатся улыбающиеся, ласковые речи. Там скуластый оборванный работник-ногаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе есаула, и скидает ярмо с мотающих головами быков, и перекликается по-татарски с хозяином. … Там баба тащит сухой сук, и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Изо всех труб поднимается душистый дым кизяка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотня, предшествующая тишине ночи».

Но вот те же самые буйволицы и бабы, лужи и казаки встречаются читателю во второй раз, только теперь в этот жизненный поток погружены Оленин и Бабука, Марьяна и Лукашка, дядя Ерошка и Назарка… Эта живая жизнь казаков очень странная: война, пьянка, охота, праздность. Но – живая. Как доказательство того, что невозможно по составу и порядку событий или происшествий определить, живая ли это жизнь. И это ставит под вопрос все названные формы живой жизни (борьба, горение, живая сила мысли…). Более того, что казалось живым (раздумья Оленина о счастье, желание участвовать в бою с абреками) – по ходу повести начинает отдавать мертвечиной. Л. Толстой как бы говорит: нет рецепта живой жизни. Есть диапазон, в котором не важно, что ты делаешь, но важно – *как делаешь и как к этому относишься*. Жизнь просто идет своим ходом, а каждый человек со своими деяниями – входит в нее как в уже давно текущую полноводную реку. Сам поток этой жизни подхватывает и несет человека, если он готов полюбить эту жизнь так, чтобы всему без остатка отдаться ей.

Жизнь, которая сама спасает для себя человека и тем самым спасает себя. У Толстого происходит то же самое, что увидел Ницше в греческой трагедии: она спасает грека для жизни и тем самым спасает жизнь [9, с. 162-165].

Толстой как бы проверяет на герое верность пути собственных исканий, ход к счастью как жизни ради других в вечном стремлении делать людям добро. И так же безжалостно, как сам когда-то отверг этот путь для себя, иронично обрывает рассуждение героя: «И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастие — вот что, — сказал он себе, — счастие в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастия; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастия незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что *вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить»*. Именно с этой надуманной, искусственной *позиции*, если можно так сказать, Оленин влюбляется в Марьянку, дочь казачьего хорунжего. Надеется, что сделает ей что-то хорошее, лучшее, чем у нее есть теперь. Но не встраивается, не может встроиться в живой поток казачьей жизни, мощно несущий казаков, казачьих жен, дочерей, сыновей, невест… Жизнь не согласна быть разменной монетой, платой даже за такую высокую ценность, как домашний очаг, благополучие, спокойствие. Всё это может быть, но будет ли при этом жизнь? Как-то не сразу и не рассуждением, а просто чутьем, нутром Марьяна знает, что это не так, и не соглашается на брак с Олениным.

Последняя сцена повести показывает всю глубину различия между героем Толстого и Джека Лондона. Если последнего жизнь подхватила и теперь ведет и несет всем своим потоком, то Оленин явно выброшен из ее хода. Он здесь лишний, чужой. К нему не питают зла, но и не сочувствуют. Жизненный поток просто выкинул его как ненужную щепку или черную карчу и пошел дальше, своим ходом. В нем Марьяна, умирающий Лукашка, невозмутимый Ерошка,

они на своем месте и никакого напряжения перед жизнью не испытывают. Не рефлектируют, не придумывают, для чего бы им пожить на этом свете. Оленин пытается осознать, понять и… не понимает.

Зато есть другой герой – Лукашка. Молодой казак, красивый, сильный, смелый, не дурак и выпить и погулять. Но он прекрасно чувствует этот ход самой жизни, отдается ему всем своим казачьим существом. Он знает упоение в бою и не знает, но чувствует, что «всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья». Опасность только возбуждает его, это едва ли не *катарсис риска*: «Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слыхать ли казаков; но до кордона было далеко, а его мучило нетерпенье; он так и думал, что вот уйдут те абреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на абреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидать еще человека, и, приладив подсошки, готов был стрелять. *О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило»*. Не боится жить, а потому не боится и умереть. Он как-то инстинктивно и весело знает, как ему жить и как умирать.

Есть жизнь и жизнь. Это хорошо слышно в стихотворении Арсения Тарковского «Жизнь, жизнь…»:

За верный угол ровного тепла
Я жизнью заплатил бы своевольно,
Когда б её летучая игла
Меня, как нить, по свету не вела.

В этих строчках – кажущаяся непоследовательность: человек хочет как-то распорядиться своей *жизнью*, которой «заплатил бы своевольно», но летучая игла жизни сама ведет его по свету, как нить. Здесь встречаются два потока жизни: жизнь, в которой человек сам решает, что ему с ней делать и как жить, и второй – жизнь, которая за его стойкое жизнелюбие сама подхватывает человека и несет в своем бурном потоке. Второй поток только для тех, кто счастлив оттого, что живет, и потому что счастлив – не боится смерти. Два потока жизни встречаются один с другим, соединяются и вновь разбегаются, размыкаются, споря между собой. Это движущееся единство жизни на все лады звучит в творчестве Толстого. Его искусство, как и греческая трагедия, есть «дополнение и завершение бытия, манящее к продолжению жизни» [9, с. 145]. Вот почему именно Толстой говорит от имени Всеобщего, а поиск и нахождение истины в романе есть не что иное, как полагание в творение истины бытия.

Литература

1. Кунильский А. Е. О возникновении концепта «живая жизнь» у Достоевского. Вестник Новгородского государственного университета, № 44, 2007. https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozniknovenii-kontsepta-zhivaya-zhizn-u-dostoevskogo/viewer (дата обращения 09/04/2020).

2. Вересаев В. В. Живая жизнь. М.: Политиздат, 1991. 336 с. https://bookscafe.net/book/veresaev_vikentiy-zhivaya_zhizn-201970.html (дата обращения 03.04.2020).

3. Достоевский Ф. М. Записки из подполья. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5.

4. Шкловский В. Б. Энергия заблуждения. Книга о сюжете // В. Б. Шкловский Избранное в 2-х томах. Том 2. – М.: Художественная литература, 1983. С. 308–636. http://philologos.narod.ru/shklovsky/energeia.htm#energy (дата обращения 11.04.2020).

5. Ницше Ф. Мое понимание счастья // Ф. Ницше Стихотворения. Философская проза: Пер. с нем. / Ф. Ницше. СПб.: Худож. лит., 1993. 672 с.

6. Деррида Ж. "Наконец-то научиться жить" (последнее интервью). Вопросы философии, 2005. № 4, с. 133-144.

7. Джек Лондон. Любовь к жизни /Джек Лондон. Собр. соч. в тринадцати томах. Т. III. С. 195-214.

8. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 302 с.

9. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ф. Ницше Стихотворения. Философская проза: Пер. с нем. / Ф. Ницше. СПб.: Худож. лит., 1993. С. 130-249.